

**ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ**  
Философ



Родился в 1956 году в Ленинграде. В 1981 году закончил кафедру истории философии философского факультета ЛГУ. Автор многочисленных работ по истории русской и западной философии, литературы, кинематографа. С 1988 года печатается в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Русская мысль», «Посев», «Новая русская книга», «Новый мир искусства», «Сеанс», в «Независимой газете», и др. В 1990-е годы работал в Париже, занимался историей русского зарубежья. Эксперт, редактор, автор более двухсот статей в семитомной «Новейшей истории отечественного кино» (СПб., 2001–2005). Соредактор философского журнала «Ступени». Член Санкт-Петербургского Союза кинематографистов и Союза Российских писателей.

## РУССКИЙ ЛЕС И РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

В 1509 году Василий Иванович занял её (Псковскую землю — П. К.) вследствие измены некоторых священников и обратил в рабство... Он увёз колокол, по зову которого собирався сенат для устройства общественных дел; сами жители были увезены по разным поселениям, а на их место были привезены московиты... От этого вместо более общительных и даже утончённых обычаев псковитян почти во всех делах введены были гораздо более порочные обычаи московитов. Именно псковитяне при всяких сделках отличались такой честностью, искренностью и простодушием, что не прибегали ни к какому многословию для обмана покупателей, а одним только словом указывали на саму вещь.

*Сигизмунд Герберштейн*  
*Записки о московитских делах*

### Святые дары

В конце 1980-х годов, как многие помнят, по всей Руси размножились бесчисленные религиозно-философские семинары, общества, собрания. Бурно обсуждались недавно запретные фигуры — от Леонтьева и Розанова до Флоренского и Степуна. Густобородые любомудры, официальные и подпольные, неофиты, литераторы, святые отцы бились над первыми и последними вопросами, громили марксизм, позитивизм, материализм... На наши публичные лекции в центральной лектории на Литейном собиравлось по сто — сто пятьдесят человек: публика приходила самая разная — от мала до велика. Из глухого советского подполья выползали на свет Божий ветхие старики, ещё помнящие Карсавина, Шпета или Малевича. Заморские гости валили косяком, дивились неслыханной свободе; философские сочинения мгновенно сметались с прилавков магазинов. Спорили, сражались, бились. Всем было ясно — возрождение не за горами. Ибо главное в наличии — священное наследие: как надо жить и обустроить страну, давным-

давно прописано в книгах. Экономика и хозяйство — у С. Булгакова, право и государственность — у И. Ильина, метафизические основы общества — у С. Франка, персонология и этика — у Н. Бердяева, и т. д. Правда, всё это не очень лепилось к современной жизни, но это мало кого смущало. Если нам даны такие духовные богатства, то ещё чуть-чуть — и всё начнёт образовываться. Но почему-то выходило наоборот. Чем больше богатств открывалось, тем быстрее всё вокруг ветшало, рушилось, разваливалось, опустевало. Все богатства необъяснимым образом оказывались не ко двору. Жизнь катилась своим чередом, не обращая на них ни малейшего внимания.

Псковская губерния не стала исключением — в древнем граде также было создано религиозно-философское общество, просуществовавшее не многим более года: публика собиралась примерно такая же, как и везде. На последнее заседание, посвящённое Владимиру Соловьёву, пожаловал сельский батюшка — тихий, молчаливый, скромный, в старенькой штопанной-перештопанной рясе. Бородатые «философы» вещали о Софии, богочеловечестве, «Трёх разговорах» и конце всемирной истории, апокалипсисе и апокатастасисе. Батюшка слушал внимательно, не проронил ни слова, но под конец спросил:

— Отцы, так всё интересно, никогда такого и не слышал... Я только одного не могу взять в толк, ответьте мне — ежели святые дары прокиснут, их выкидывать или под престол ставить?

Этот финальный аккорд и стал завершением религиозно-философских собраний в древнем городе.

## София, девяностые

После сокрушительного обвала начала девяностых от религиозно-философских обществ не осталось почти ничего. Так: обломки, осколки, маленькие кружки, где количество выступающих и слушающих, как правило, совпадало. Тогда же нам внезапно достался большой дом в глухой деревне на северо-западе Псковской губернии, недалеко от Чудского озера. До Пскова так же далеко, как и до Питера. Медвежий угол, колхоз рассыпался окончательно, люди жили лесом и огородом, передвигались на подводах по лесным дорогам (бензин за семьдесят вёрст), гужевой транспорт снова вошёл в обиход. Телефонами тогда и не пахло, отрыв от цивилизации такой, что возникало ощущение попадания в век этак девятнадцатый. С поздней осени и до весны около деревень бродят волки, иногда таскают собак, режут скот — кроме электричества и редких антенн над чёрными избами за сто лет мало что изменилось.

Перед тем как проехать в наше лесное Березно, надо миновать большое село с высокой церковью на холме. Церковь деревянная, XVII века, недавно обновлённая, покрашенная, сверкала крытыми жёстью куполами. Здесь всё настоящее — церковь намолена, дух — ветхий, кондовый, батюшка — старый, исконный, служит здесь лет тридцать, ходит босиком по дощатому полу, проповеди читает как при Никоне, вслушаешься — голова идёт кру-

гом. Как-то раз проповедовал, что женщина — «сосуд дьявола», «источник соблазна и греха», бабки серьёзно слушали и кивали — феминистки сюда пока не добрались. Место настолько глухое, что даже при большевиках церковь не закрывали — Бог с ней, пускай старухи молятся. На воскресной литургии народу человек двадцать. Пожилой местный интеллигент, двое городских, работающих при церкви, десяток старух, несколько женщин по-моложе, дети, подростки. Местных мужиков нет совсем, в церкви бывают только на крестинах, свадьбах или поминках.

В нашей деревне — верстах в семи от села — осталось домов тридцать, стоят они не близко (много сгорело в войну или просто сгнило), разбросаны по небольшим холмам перед длинным заболоченным озером. Соседями справа оказались Николай — бобыль лет пятидесяти с крестообразным шрамом на большом лбу, человек нормальный, но немного «не от мира сего», считай, деревенский юродивый, и живописнейшая баба Валя по прозвищу «газета». Николай жил в низкой избушке без фундамента — головой стучаешься о потолок — не хватило леса, двух венцов не доложили: «Да зачем мне одному, — машет он рукой, — всё равно помирать...» Он всем помогает, почти бесплатно вскапывает огороды, пьёт не часто, словом, разительно отличается от остальных. «Да у него ж дырка в голове», — сокрушённо говорила его мать, девяностолетняя баба Шура. С виду — обычный мужик, по-своему красивый, живёт на инвалидную пенсию. В меру ленив, мечтателен, застенчив, любит порассуждать, но никогда не охотится, не ходит на рыбалку. Станным образом в нём сохранилось какое-то врождённое благородство и деликатность, — но в жизни это чаще всего приходится скрывать. И душа у него, по Тертуллиану, «по природе — христианка». Когда-то в их роду были священники, и, возможно, эти забытые корни ещё существуют в нём, но при этом не без гордости заявляет:

— В судьбу я, конечно, верю, но воще-то я — етеист.

Мужик должен охотиться, рыбачить, ходить в баню, пить, плевать, драться, колотить свою бабу или даже из-за внезапной, беспричинной ревности пристрелить её из двустволки, сесть в тюрьму — всё это законное, мужское. Но если он отправится в церковь, будет молиться, он тотчас же утратит свою идентичность, потеряет мужескую силу, «обабится»...

Это похоже на времена первоначального христианства, эпоху гонений, когда женщины, рабы и немногие новообращённые составляли костяк христиан. Христианство проповедано мужчинами, но изначально рождено и затем воспринято женщинами. Поиск вечной женственности — первоизданной потенциальности бытия — всегда сопутствовал исканиям мистиков и философов всех времён и народов. В гностицизме — всё ещё радикальнее, женское возникает как необходимое саморазличение Абсолюта. Абсолют, чтобы существовать, должен положить себя как Иное. Это Иное, через которое Бог приходит к Самому Себе, и есть женское. Бог открывается женскому, для мужского начала Он закрыт («женская вера», как говорили про христианство римские патриции).

Апостол свободы, аристократ Николай Бердяев, порицая «вечно бабье в русской душе», отождествлял его с «мистическим народничеством», хро-

нической русской болезнью, желанием утратить свою личность, отдаться и раствориться в пантеистической народной стихии, обрести «подлинную веру» тёмных бабушек и простых людей. В русском церковном православии мужчин совсем мало, до сего дня лица церковных людей — часто лица евнухов, скопцов, андрогинов, а монахи и святые — вообще по ту сторону пола (славословия воинственному духу православия и чудо-богатырям имеют по преимуществу языческие корни). Утончённый защитник ортодоксии о. Георгий Флоровский, казалось бы, ни в чём не согласный с Бердяевым, именно в этом абсолютно с ним совпадает. В «Путиях русского богословия» он цитирует Бердяева с восхищением, повторяя, что старьёй, бытовой стиль православия навсегда кончился и его больше нельзя восстановить — вера бабушек и простых людей навсегда прошла.

Всё верно — народа в этом смысле больше нет: бабки умирают, а деды не знают, как перекреститься. Но если убрать из этого мира «женское», то окажется, что состояние «мужского мира» сегодня даже не дохристианское, а до-языческое — царство первобытных верований, фетишей, тотемов и табу.

Грехопадение произошло, человек изгнан из рая, но до поклонения стихиям — солнцу, дождю, ветру, земле — он ещё не поднялся.

Tabula rasa: кажется, что история начинается вновь.

## Пантеизм

Я — лень непробудная, лютая Азия в дрёме. Моей Азии изумилась бы настоящая Азия: лежать бы мне в тени минарета, млеть в верблюжьём загаре. Яблоко — пища дневная да пригоршня воды из фонтана... Ах, я — непробудная лень! Только бы не проспать самого себя!

*Николай Клюев*

Начало июля, тишина, жара, безветрие. Вчерашний ливень глубоко промочил землю, огороды прополоты, солнце в зените, аист осторожно бродит на лугу перед домом, кажется, что всё в округе спит. Надо работать, писать, усилием воли сосредоточить сознание, но вместо концентрации оно растекается, плывёт, душа теряет свои границы и сливается с этой травой, замершими берёзами, с этим небом, неподвижным душным воздухом. Человек пропадает, растворяется, полный паралич воли, исчезновение желаний, мыслей, чувств: ты и мир — одно. Притом каждый простейший акт, каждое действие полно значительности — принёс воды, скосил траву, купался в реке — и больше ничего не нужно. Состояние, похожее на счастье, которое, если верить венскому психоаналитику, человеку труднее всего долго переносить.

По тропинке вдоль забора идёт Коля с ведром за водой, возвращается... Через час с одним ведром идёт к колодцу снова.

— Зачем ты с одним ведром ходишь, — кричу я, — можно же сразу два принести!

Он ставит ведро на землю, вытирает со лба пот.

— Ну, принесёшь два ведра, а потом что делать? — как будто с лёгкой обидой на жизнь говорит он. — А так принесёшь одно, а потом через час ещё сходить можно... Давай покурим, что ли...

Подходит, садится рядом на скамейку, затягивается «Примой».

— Эх, жара, — говорит он, вздыхая.

— Да, жара и безветрие, — отвечаю я.

— Безветрие и, вишь, как парит, к вечеру, наверное, снова дождь будет...

— Да, похоже на то... парит сильно.

— Хорошо, поливать не надо будет.

— Да, поливать не надо.

Пауза.

— Ну, пойду дальше, — говорит он, — к Федюне зайду...

— Зачем?

— Да дело есть... Поговорим, покурим...

### Православная этика и дух капитализма

В своё время у Николая была мечта — скопить деньги на «видик» и открыть в деревне видеосалон, начать собственное дело. Если вспомнить Макса Вебера, капитализм и частное предпринимательство проистекают из лютеранско-кальвинистского аскетизма: упорный труд, бережливое преумножение первоначального капитала — залог подлинной жизни. Труженик, успешно возделывающий свою ниву, тратящий много меньше, чем получает, — прообраз праведника и одновременно эмбрион зарождающейся эпохи человеческого процветания. Заработанные деньги нельзя тратить на себя, их нужно вкладывать в дело и жить, как в монастыре, — и тогда будет шанс оправдаться перед Богом.

Всем известно, что в деревне денег мало. Но если они появляются, потратить их не на что, а сохранить очень сложно. Когда охают над сельской нищетой, не понимают, что деньги, даже в относительно небольшом количестве, для современной деревенской жизни чаще зло, чем добро. Немногие «крепкие мужики» («кулаки», по советской терминологии), обустроившие своё хозяйство и умеренно пьющие, в основном люди полугородские. В той или иной степени они прошли через городскую жизнь: для них «золотой телец» не так опасен.

С конца июня и до октября в деревнях начинается «золотая лихорадка» — местный народ бродит по лугам и лесам, собирает лисички и сдаёт их скупщикам. Расти грибы начинают в глухих лиственных лесах, у чёрта на рогах, и лишь в июле появляются в борах. У всех свои потаённые места, которые никто никогда не выдаст. Это единственное время в году, когда за день можно заработать от трёхсот до тысячи рублей — для деревни деньги огромные (в Европе, куда эти лисички везут через Эстонию, их стоимость возрастает в двадцать-тридцать раз). Но сумма в две-три тысячи рублей может стать роковой, ибо люди здесь не просто пьют, а в буквальном смысле

пьют до смерти. Однажды Николай собрал лисичек больше чем на тысячу и отправился сдавать их за пять вёрст в большое село на велосипеде. Там он встретил приятелей и от душевных щедрот решил их угостить. Малописьущий Коля угощал их так долго, что, в конце концов, напился сам. Пил дня три, пропил все деньги, потом и велосипед тоже, и вернулся пешком в весьма истощённом состоянии, но, слава Богу, живой.

Частное предпринимательство, увы, пока не прижилось.

### Мессианизм

Однажды Колю спросили: что бы ты сделал, если бы у тебя было много денег? Подумав, он ответил: я бы поехал в Грецию. — Почему именно в Грецию? — Там тепло, там море, — сказал он. И после некоторой паузы добавил — и там гречанки такие злые, почти как цыганки. — Ну и зачем же туда ехать, если они такие злые? — А я бы им показал, какой я добрый!..

Баба Шура, родившаяся в деревне и даже при немцах не выезжавшая никуда — ойкумена для неё кончается за соседним селом, — спрашивает у М.:

— А твой-то, говорят, куда уехал?

— Во Францию.

— Да-а-а, бедный, — с искренним глубоким вздохом сочувствует она.

### Лес: древний ужас

По Ключевскому, Русь и Лес — синонимы: «Ещё в XVIII веке европейцу, ехавшему на Москву через Смоленск, Московия казалась сплошным лесом». Леса, реки, озёра — «наше всё», они кормили, поили, одевали. Но далее Ключевский замечает, что «несмотря на это, лес был всегда тяжёл для русского человека... Этим можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу: он никогда не любил своего леса». Сегодня это звучит как преувеличение и одновременно похоже на правду. Настоящий Лес бывает не только тяжёл, но жуток и страшен — любят его далеко не все.

Читая же С. Максимова, М. Забылина и прочие книги по народной демонологии, испытываешь естественное чувство зависти к этой необозримой и многокрасочной жизни, где языческая русская нечисть ещё совсем недавно населяла избы и леса и превращала скучноватые пространства во что-то странное, жуткое, бесконечно таинственное. Казалось бы, все эти баенники, лешие, полевики, оборотни, кикиморы, ведьмы и колдуньи давно и безжалостно изгнаны из самых глухих чащ и болот (в деревне последняя бабка-знахарка, умевшая заговаривать, умерла лет десять назад, теперь осталась лишь одна старуха, про которую поговаривают, что если она и не ведьма, то всяко связана с нечистой). Но, к счастью, лес всё ещё остается настоящим лесом, а не европейским лесопарком, и непроходимые ельники, гибельные болота и вросшие в землю лесные хутора вызывают всё то же



жутко-сладостное чувство. Ранней осенью, если идти по лесной дороге через сосновые боры, мимо озера Плотичного, сначала не испытываешь ничего необычного: лес как лес — корабельные сосны в светло-зелёном мху, вереск, можжевельник, прозрачное солнце осени, слепней и комаров нет совсем — бродить здесь одно удовольствие. Но если повернуть направо по заросшей Обрской дороге, пройти версты две, перейти болото с острым запахом багульника, дойти до речки Рожни с берегами, изрезанными бобровыми норами, то всё вдруг меняется. Лес остаётся как будто прежним, за болотом снова бор с брусничником, где грибы можно косить косой, переходящий в ольшаник с папоротником, смешанный с елями и редким березняком. И только дальше за рекой начинается дремучая еловая чаща. Уже здесь место тревожное, жуткое — можно вспугнуть глухарей, наткнуться на медвежий помёт, услышать на другом берегу страшный треск сухого бревна, не выдержавшего лосиного копыта. Поздней осенью здесь бывают волки, впрочем, пока ещё не опасные, тем более, если ты с собаками. Но дело не в этом — тут место, где внезапно, необъяснимо тебя охватывает ощущение жути, чувство, что кто-то дальше тебя не пускает, и хочется тут же повернуться и пойти назад. Здесь начинается настоящий, древний, языческий, первозданный лес с духами, лешими и демонами, раскинувшийся на десятки километров вплоть до самого Чудского озера. Самые страшные леса — еловые, на севере именуемые «сюземами», которым этнограф и писатель Сергей Максимов посвящает патетические строки: «В них господствует вечный мрак и постоянная влажная прохлада среди жаркого лета... Всякий крик пугает до дрожи и мурашек в теле. Колеблемые ветром, древесные стволы трутся один о другой и скрипят с такой силой, что вызывают у наблюдателя острую ноющую боль в сердце. Здесь чувство тягостного одиночества и непобедимого ужаса постигает всякого, какие бы усилия он над собой ни делал. Здесь всякий ужасается своего ничтожества и бессилия»... Именно здесь и рождалась когда-то языческая демонология...

Уже будучи в эмиграции, Бердяев любил повторять, что на российских просторах природные духи ещё не окончательно побеждены цивилизацией, — «поэтому в русской природе, в русских домах, в русских людях я часто чувствовал жуткость, таинственность, чего я не чувствую в Западной Европе, где элементарные духи скованы и прикрыты цивилизацией» («Самопознание»).

Христианство побеждает «древний ужас», изгоняет духов и демонов из природы, человек становится венцом творения, природа — объектом, с которым можно совершать всё что угодно. Так возникает техника, цивилизация, либерализм, human rights — христианство отступает под напором своего неблагодарного потомства, и в результате остается линейный, прозрачный и стерильный мир одномерных людей и супермаркетов. Так что именно до конца непобеждённое и непреодолённое язычество, так полно и плотно впитанное православием, преградило дорогу «прогрессу» и оставило эти избы и леса нетронутыми ещё на одну-две сотни лет.

Коля немного побаивается ходить в дальние леса — первобытный страх тоже живёт в нём. К тому же, как полуязычник, он страшно боится мертве-

цов и всего, что связано со смертью. За версту обходит сельские кладбища и старается не бывать на похоронах. Это похоже на тот самый доисторический ужас перед покойниками, описанный ещё у Фрэзера, который накладывал табу даже на произнесение имени отошедшего в мир иной. Иначе можно потревожить дух умершего, он будет являться во сне и мучить живых.

На вопрос же: сталкивался ли он с лешими или домовыми, Николай отвечает отрицательно.

— Но, воцпе-то, может, и есть они, чёрт их знает... Иногда просыпаюсь утром — кто-то как будто душит за горло, не встать, ни сесть...

Тогда, хоть он и «етеист», прибегает к испытанному средству — три раза осеняет себя крестным знамением, и нечисть тут же исчезает.

— И всё-таки, почему в лесах ни леших, ни полевых совсем не осталось?

— Не знаю, — отвечает он. Потом, задумавшись, говорит: — Может, потому, что люди стали хуже леших, так что куда они теперь... Надобности в них нет.

### Безвластие и свобода

...у партии теперь два крыла, левое и правое. Так может, она сымется, наконец, и улетит от нас к ядрёной фене...

*Михаил Шолохов «Поднятая целина»*

Самое удивительное — в радиусе более тридцати вёрст здесь нет никаких признаков власти. Это не сразу замечаешь, потому что на самом деле она оказывается не очень-то и нужна. Говорят, что в большом селе Заянье — дворов сто пятьдесят с церковью и монастырьком — вроде бы есть участковый, но за пятнадцать лет мы никогда не видели человека в форме.

Конец власти советской — когда партия, наконец, «улетела к ядрёной фене» — в начале девяностых привёл к исчезновению власти как таковой. Прежде тут было некое подобие администрации: три тётки плюс начальник. Но в связи с укрупнением её перевели в волостной центр, и из государственных учреждений теперь остались только почта и фельдшерский пункт, работающий три дня в неделю, — кроме йода, бинтов, аспирина и анальгина, как правило, в нём нет ничего.

Сейчас почти забыли, что при большевиках, когда последний забудыга на самом дальнем хуторе не работал более трёх месяцев, до него добирался человек в форме, грозил тюрьмой за тунеядство или принудлечением. То, что можно не работать, давно воспринимается как само собой разумеющееся. Хочу — собираю грибы, клюкву, бруснику, чагу, ловлю рыбу. Хочу — копаю огород, рублю сруб, пью водку или на печи лежу. Конечно, свобода вещь опасная, но голод не тётка — рано или поздно на заработки выгонит.

Как-то, уже в 2000-е, когда везде появилась нужда в рабсиле, я спросил у одного одинокого мужика, пьющего, но не сильно, построившего себе по местным меркам роскошный дом, почему он куда-нибудь не устроится постоянно. «Не-ет, — протянул он с полной убеждённостью, — ни за какие



коврижки, я теперь свободный, что хочу, то и ворочу... А на них я наработался, хватит!»

Половина местных авто, не выезжающих за пределы ойкумены, не имеют не то что страховки, техосмотра, но и вообще документов и даже номеров: гаишники здесь отсутствуют как таковые. Дороги скверные, особенно не разгонишься — серьёзные аварии крайне редки, как, впрочем, и убийства. Воровство случается: особенно в тех деревнях, что стоят на большаке, но наличие власти не изменило бы ровным счётом ничего.

«Мытари» и «опричники» появляются не чаще чем раз в год для сбора земельного налога (надо признать — смехотворного) или платы за электричество. Если кто-то долго не платит, обрезают провода, но у каждого местного умельца на этот случай есть провода с крючками, которые вечером набрасываются на линию электропередач, а утром снимаются. Приезжают они и когда кто-то умирает или же совершается серьёзное преступление. Но неприязнь и затаённый страх перед Властью — даже у тех людей, которые в жизни мухи не обидели — я бы сказал, генетический. Однажды из Питера мы отправили Коле ко дню рождения поздравительное письмо. Писем он не получал лет десять: ему сказали, что на почте для него лежит письмо из города. Он сначала страшно перепугался: это у всех в крови — от них ведь можно ожидать чего угодно! Возьмут и лишат пенсии или опять засадят в дурку... Сколько десятилетий (или веков?) они творили (и творят) всё, что им взбрѣдет в голову! Когда власти наезжают с какими-нибудь очередными выборами, то отношение к ним примерно такое — ладно, проголосуем как положено, только потом отстаньте, чтобы как можно дольше мы вас не видели. И эта ненужность власти со всеми её придатками ощущается здесь как нигде — люди, даже самые непросвещённые, вполне способны между собою договориться. Кропоткин и Толстой были бы довольны.

### Либерализм и демоны русской революции

И сорок лет спустя мы спорим,  
Кто виноват и почему.  
Так в страшный час над Чёрным морем  
Россия рухнула во тьму.

*Георгий Иванов*

Впрочем, с исторической точки зрения на русское язычество можно взглянуть совсем по-другому. Либерализм возник в Британии, своим происхождением он обязан родовому поместью gentleman'a и регулярному английскому парку.

Если ехать на Псковщину из Питера по киевской трассе, то вёрст через пятьдесят в селе Рождествено по левую сторону на холме возникнет обветшавшая усадьба (недавно, впрочем, сгоревшая и частично отстроенная заново) с остатками роскошного парка — бледный призрак несчастного российского либерализма. Когда-то в этих благословенных краях между фамильным именем баронессы фон Корф и усадьбой Рукавишниковых

появились побеги отечественного «конституционно-демократического» свободомыслия и здорового индивидуализма, которые Владимир Дмитриевич Набоков со товарищи столь упорно пытались привить российскому «соборному» дичку. Все источники рисуют необыкновенно благородный образ: просвещённый барин, бережно обращавшийся со своими крестьянами, богач, англофил, денди, в недавнем прошлом близкий ко двору, мужественно защитивший в 1922 году в Берлине апостола либерализма Павла Милюкова, был, в своём роде, «умеренным революционером», всячески демонстрировавшим неприятие самодержавной власти. «Став одним из лидеров конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все эти чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира», — не без гордости напишет в «Других берегах» Набоков-сын, столь презиравший всякую «политику», «союзы», «партии» и глуповатое революционное фрондёрство, но в ностальгической истоме прощавший это своему отцу. Его роскошный особняк на Большой Морской в Петербурге (вокруг него всегда вертелись «назойливые, но безобидные шпики») становится мозговым центром кадетской партии, составлявшей ядро легального освободительного движения. Бесспорно, здесь собирались образованнейшие и благороднейшие люди, адепты конституционного строя и народной свободы. «Мы мечтали мирным путём, через парламент осчастливить Россию, дать ей свободу мысли, создать для каждого обитателя великой Империи без различия сословий и национальности, просторную и достойную жизнь», — вспомнит уже в эмиграции в своих восхитительных по наивности мемуарах «На путях к свободе» барыня-активистка кадетской партии Ариадна Тыркова-Вильямс.

Но странное дело, всё это удивительное племя бывших придворных, просвещённых помещиков, знаменитых адвокатов, либеральных профессоров и земских деятелей — как напишет та же мемуаристка — обладало и поразительным нечувствованием реальной России. Извечный комплекс славянской провинциальной неуверенности приводил к тому, что западным философам, правоведам, экономистам они доверяли больше, чем собственному опыту. К этому примешивалось столь же характерное непонимание живых людей и «живой жизни»: «Если бы политика была бы шахматной игрой, а люди деревянными фигурками, П. Н. Милюков был бы гениальным политиком», — язвительно заметил его извечный оппонент Пётр Струве. Но видящий соринку в чужом глазу, не замечает бревна в собственном. Та же Тыркова-Вильямс в полной мере возвращает это обвинение своему учителю и единомышленнику: Струве «больше жил книгами, людей замечал не сразу и на них смотрел через подзорную трубу... Рассеянный, погружённый в свои мысли... он проходил мимо людей, как мимо травы».

Здесь можно вспомнить, что для Набокова-сына главный жизненный порок — эстетическая, художественная и, наконец, человеческая слепота. В его текстах возникает множество образов «русских общественников» — слепых поводырей, с глазами и душой, «совершенно равнодушных к зритель-

ным впечатлениям», начиная с Чернышевского и кончая многочисленными друзьями и соратниками его отца. Так они проглядели демонов, рвущихся к власти, хотя, казалось бы, не увидеть их было нельзя. В рассказе «Истребление тиранов» главный герой, живущий при полицейском режиме, вспоминает свою юность, когда его брат-революционер дружил с нынешним тираном, и удивляется, почему в молодом революционере тогда «никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой влачил». Тень измены (как её увидеть?) — это другой ракурс, но сущность от этого не меняется. Те, кто хотят изменить мир и ведут кого-то куда-то, должны чувствовать мир, обязаны видеть и понимать в нём главное...

Увы, все лидеры по определению подслеповаты: обязательные шторы на глазах позволяют видеть лишь желаемый сектор реальности, концентрировать энергию и вести людей за собой. Если же воля недостаточна, интенсивность энергии слаба — крах неминуем, что и произошло с российским «освободительным движением». Им всем пришлось расплачиваться по-разному: Милюков отделался лёгким испугом — в Париже его сначала крепко поколотила зонтиком какая-то разгневанная аристократическая старушка, а Набоков-старший погиб в Берлине, спасая его от пули сумасшедших монархистов, но поразительным образом ничто не изменило мировоззрения Милюкова до самой его смерти в 1943 году. Больше всех доставалось либеральному социалисту Александру Фёдоровичу Керенскому, ставшему, в своём роде, Агасфером русской эмиграции, вынужденному нести бремя вины за крушение Империи на своих плечах. Роман Гуль в мемуарах записывает рассказ друга Керенского Владимира Зензинова о том, как однажды Керенский «бежал» по парижским улицам, и некая русская дама с девочкой остановилась и «громко сказала, показывая пальцем на Керенского: Вот, вот, Таня, смотри, этот человек погубил Россию!.. Слова этой дамы подействовали ужасно, и он несколько дней был сам не свой». Тут же Роман Гуль передаёт потрясающую историю про то, как ныне совершенно забытая «бабушка русской революции» народница Екатерина Брешко-Брешковская, «называвшая Керенского не иначе как Саша, подавала ему истинно государственный совет спасения России. Она говорила Саше, что он должен арестовать головку большевиков как предателей, посадить их на баржи и потопить. „Я говорила ему: Возьми Ленина! — а он не хотел, всё хотел по закону. Разве это возможно было тогда?.. Посадить бы их на баржи с пробками, вывести в море — и пробки открыть... Это как звери дикие, как змеи, — их должно и можно уничтожить. Страшное это дело, но необходимое и неизбежное“».

Но ни «Саша», ни остальные, с их воспитанием и фантастическими идеалами не были способны на что-либо подобное. Более того, они не увидели самого простого — как будто никто из них не выходил за пределы усадебного парка и не замечал, что за дубами, липами и тополями начинается языческое царство кикимор, леших и водяных, трупобный ужас, русская жуть, «лесная смердяковщина». Но что говорить о либералах, когда даже пронизательный Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» всё замутил и перепутал, взвалив вину за революцию на христианство. Но как раз

не христианство, будто бы подавившее «здоровое язычество», стало причиной катастрофы, а, напротив, слишком тонкий, неглубокий слой христианской культуры, лопнувший как мартовский лёд: древний ужас выплеснулся на поверхность и утопил в крови тысячелетнюю Империю. Вглядываясь в фотографии «второго ряда» большевистских лидеров — всех этих калининых, крыленко, бокиев, ягод, ежовых, ярославских и прочих, кажется, что видишь лица упырей, вурдалаков, водяных, оборотней, до поры до времени томившихся в тверских, псковских чащобах или за чертой осёдлости и выброшенных наверх тёмной революционной мутью (в городах, конечно же, этой «тмы» таилось не меньше). Кстати, позднее некоторые эмигрантские историки неслучайно будут говорить о чисто языческой подоснове иррациональной демонологии сталинских процессов, столь напоминавших «охоту на ведьм».

Когда сегодня горюют об очередном крушении российского либерализма — уже совсем другого, далеко не столь благородного и бескорыстного, — забывают именно об этом. Русская история движется по кругу. Что стало с русским лесом за сотню лет? Конечно, он изрядно поредел, но занимает почти те же пространства — тысячи вёрст боров, ельников, степей и болот, где по-прежнему «закон — тайга, а прокурор — медведь». Какой возможен либерализм в бобровом и медвежьем царстве?! Недаром партию власти в Кремле окрестили «медведями». Народу это понравилось, и за «медведей» на рубеже тысячелетий он проголосовал. В окрестных деревнях почти все были за «медведей» — всё-таки свои, родные, лесные. Только Коля вдруг выступил в роли диссидента — «чё-то не нравятся мне они» — и проголосовал за «Родину». Сто лет назад в Государственной думе Владимир Дмитриевич Набоков произнёс знаменитую и страшно крамольную фразу: «Исполнительная власть да подчинится власти законодательной!»

### Новые времена: апокалиптики Лядского уезда

Впервые с апокалиптиками я столкнулся где-то в конце восьмидесятых в лице Свидетелей Иеговы, которые в то время вместе с другими сектами в изобилии высыпали на поверхность. К нам явилась троица «исследователей Библии» — как они себя именуют — для душевспасительной беседы. Выслушав несложные рассуждения худой моложавой дамы о грядущем светопреставлении и о ста сорока с чем-то тысячах праведников, которым суждено будет спастись на Страшном суде, я вежливо поблагодарил её за интересную информацию и быстро удалился, сославшись на срочную работу. Я сделал это чисто инстинктивно: от всего трио исходила столь невыносимая аура узости и духоты, что после десяти минут разговора становилось физически трудно дышать. Моя реакция оказалась правильной: моложавая дама смутилась, побледнела, и все они быстро исчезли, сообщив, что попали не по адресу. С тех пор я не раз сталкивался с «исследователями», мормонами, адвентистами седьмого дня в разных городах

мира: почему-то я притягиваю подобную публику. Но более всего в апокалиптиках поражало странное сочетание вполне земного практицизма с эсхатологическими чаяниями.

Через несколько лет о конце истории и последних временах заговорили все наперебой. Куда ни кинь — эсхатолог на алармисте сидит и апокалиптиком погоняет: эсхатологическим пророчествам несть конца, да и «пензенские сидельцы» появились не случайно... В начале октября, спустившись с холма на машине, в Заянье у церкви я подобрал попутчиков — мужчину лет шестидесяти (в прошлом инженера, как выяснилось) и женщину чуть помладше с породистым лицом и «следами былой красоты». Они были на службе, причащались, теперь надо обратно — в Лугу: сто вёрст и никакого транспорта. Я сразу же почувствовал — люди не из местных прихожан, а серьёзные, знающие, соответствующим образом одетые, с бутылками со святой водой и правильной литературой. Они разместились на заднем сиденье, так что я хорошо видел их в зеркало.

— А что это у вас? — тут же подозрительно спросил мужчина, указывая на ароматизатор, болтавшийся перед лобовым стеклом.

— Да просто так, ароматизатор в виде Инь и Ян, — ответил я как можно мягче. Знающим что-то объяснить и с ними спорить бесполезно, лучше прикинуться «валенком».

— Просто так ничего не бывает, — жёстко сказал мужчина. — А вы знаете, что это знак Зверя? Это ведь что-то буддийское, — неуверенно добавил он.

— Нет, не буддийское, так, чистый декор... — И, чтобы снять напряжение, я достал иконку.

— Это Спас со Святой земли, он объёмлет всё... — Попутчики тотчас же потеплели, заговорили.

— Вот это правильно, правильно, Господь всех хранит... Вы здесь проживаете?

— Да, в семи верстах от монастыря, в Березно.

— Вот славно, благословенное место выбрали, по нынешним временам лучше не найдёшь!

— Но мы здесь только летом и осенью, четыре-пять месяцев, скоро пора в Питер возвращаться...

— А вот этого совсем не нужно! — внезапно сказал мужчина. — Если Господь указал вам такое место, здесь и живите постоянно!

— Это почему?

Молчание: так выжидают, когда хотят сказать нечто очень важное.

— А потому что плохо там совсем скоро будет!

— Там плохо или везде? — полюбопытствовал я.

— Везде будет плохо, а там-то в особенности, — веско изрёк мужчина и замолчал.

— А почему там-то в особенности?

— Как почему? Город-то на костях построен, этими, прости Господи, каменщиками вольными во главе с царём, клеймён Антихристом, а теперь и вовсе — чистый Содом, волной его накроет, вот и всё. Теперь уж навсегда,

никакие дамбы не помогут, — спокойно сказал попутчик, так, словно это было давно доказано математически.

— Какой же Пётр масон, — возразил я, — когда первая ложа у нас возникла уже после его смерти...

— Хе, — сочувственно улыбнулся мужчина, — вы что ж, думаете, что у них в книжках написано, так оно и есть, что ли?

— Почему «у них»? Об этом во всех энциклопедиях написано...

— Гхе-хе, — он очень выразительно хмыкнул, мол, ну и темнота! — А энциклопедии эти кто писал, интересно?..

— Что, тоже они?!

Пауза. Мой вопрос прозвучал риторически.

— Неужели все?

— Ну, если в них одно и то же написано, сами подумайте... Вы правильные книги почитайте. Учение-то какое у них? — задавая вопрос, он делал паузу, так что я чувствовал себя школяром на экзамене.

— Какое же?

— Тайное! Так они вам всё и раскроют! Ихняя же задача не раскрыть всё, а скрыть, утаить и всех запутать... Приёмы-то свои они у кого заимствовали, знаете?.. У иезуитов!

Тут мы подскочили на ухабе. Я так заслушался, что машину чуть не вынесло в кювет: про связь масонов с иезуитами слышать доводилось впервые.

— Пётр-то молодой куда ездил? В Голландию, да в Англию, строительному делу и архитектуре учиться... А кто его учил? А-р-х-и-т-е-к-т-о-р-ы! Да и ездить никуда не надо было, вся немецкая слобода была уже замасоненная. Все эти Брюсы да Лефорты чего стоят! А Питер кто строил? Тоже, мол, архитекторы. Вы посмотрите на верхушки зданий, на фасады — всё ясно станет: треугольники, циркули, пирамиды, зверюшки там всякие, правильные книжки почитайте... Ужасы одни... Оттого и город-то не город, а сплошные несчастья, весь гнилой, промасонен насквозь... А ещё удивляются, отчего дети все болеют и люди мрут... Вы «Тайну России» читали? — внезапно наклонившись к моему уху, спросил он почти шепотом.

— Нет.

— А вы вот прочтите, и тогда ясно будет, где жить, а где не жить... Так что живите здесь, где Господь указал, продуктами запасайтесь, только не в этих супермаркетах, где одна отравка со штрих-кодами, а в обычных, маленьких магазинчиках... Грибочков-то насобирали?

— Да. Много. Год-то грибной.

— Да, много грибов-то... Вот-вот, правильно, грибочки заготовливайте, капустку, муки побольше закупите... Плохие времена наступают, совсем плохие... Грибов-то много насолили?

— На всю зиму хватит.

— Это хорошо. А груздей много?

— Да, даже много рыжиков набрали.

— Правда? — спросил он с неподдельным интересом, даже с лёгкой завистью старого грибника. — Ох, у нас рыжиков нынче днём с огнём не сыщешь... Грузди, волнушки — и то редкость. Ох, плохие времена, совсем плохие...



— А ведь сказано: никому не дано знать о сроках последних времён, — попытался возразить я.

— Знать-то нельзя, — он глубоко вздохнул и помолчал. — Но понимающим людям знаки-то видны... Вокруг посмотрите, все знаки-то налицо. Куда уж больше!.. Просто видеть никто не хочет... Про Таиланд знаете?

— Да, слышал...

— И что, думаете, это просто так, что ли? Так просто волна поднялась и всех накрыла?! Что там творилось?.. Знаете? Содом и Гоморра, бесы со всей земли слетались, как мухи на мёд... Как бы, мол, туристы. И все делают вид, что случайно волна стометровая, мол, ни с того ни с сего взяла да обрушилась... Такое ни с того ни с сего не бывает... Вы вот, я вижу, человек всё-таки образованный, культурный, а знаете, почему Помпеи погибли под Везувием?.. В прошлом году Господь сподобил совершить паломничество по святым православным местам в Италии, в Бари поклонились мощам Святого Николая... С еретиками, римо-католиками, мы, конечно, не общались, не подумайте... Так вот, оказывается, Помпеи были посвящены Венере. Знаете, кто она — языческая богиня амура и всяческого распутства. В Греции именовалась Афродитой. И когда ещё в девятнадцатом веке город начали раскапывать, там такие фрески, такой срам открылся, такой, извините за выражение, секс...

— Да при том в натуральную величину! — неожиданно и как-то страстно добавила молчавшая женщина.

— Да-да, так что даже сами римо-католики устыдились, многие фрески прикрыли и до сих пор не всё показывают! Это что, тоже случайность?..

Возразить было нечего.

В Лядах на минутку остановились перед деревянной часовней, недавно отстроенной у дороги слева на холме. Я быстро перекрестился. Мужчины тут же насторожились, посмотрел с подозрением:

— Неправильно креститесь... И знаете кому?

— Кому же?!

— Сатане креститесь!

— Это почему?! — испугался я.

— Крестное знамение-то у вас короткое, нижняя часть получается короче верхней, крест выходит перевёрнутым. Сами понимаете, что это значит! — и он показал, как нужно правильно креститься по-настоящему «длинным» крестом.

— А про Диомида что Вы думаете? — спросил я (епископа Чукотского, неистового радикала и фундаменталиста решением Архиерейского собора за обличение Патриархии недавно «извергли из сана»).

— Что тут думать... За правду люди всегда гонимы... А вы знаете, как он живёт? У него ряса одна, и то дырявая, окормляет такую епархию, в снег и дождь в самые дальние приходы приезжает, Чукотка это вам не Москва... А эти всё хоромы себе строят и перед властью безбожной пресмыкаются...

Мы ехали не так уж долго, но я успел узнать множество потрясающих вещей. Женщина сначала поведала о том, как был оклеветан перед безбожной революцией святой старец Григорий и затем замучен «архитектора-

ми»; иконы теперь его есть по всей Руси, некоторые даже мироточат. О том, как к заблудшему семинаристу Иосифу в 1943 году явилась святая Матрона Московская, устыдила его, он покался и обратился, вызвал митрополита, открыл церкви и монастыри и с Божьей помощью разгромил немчуру. А после войны хотел возродить Русь православную, за что и был злодеями отравлен (правда, мужчина, как мне показалось, отнёсся к этой версии несколько скептически). И, наконец, мне было поведано о подробностях грядущего светопреставления — сперва начнут часто падать самолёты, сходить с рельсов поезда, пропадать в море корабли, затем вздыбятся моря и океаны, и целые страны, народы и города погибнут от цунами и ураганов... Тут-то и явится Антихрист, который соблазнит всех тем, что пообещает укротить стихии. Оттого ему и поклонятся все, кроме маленького православного царства, которое уцелеет где-то в самом сердце Руси...

И самое поразительное, о чём бы мои попутчики ни рассказывали — о Петре, Помпеях, масонах и иезуитах, — они говорили с такой степенью абсолютной убеждённости, словно сами повсюду присутствовали непосредственно: «как сейчас помню!». Я даже позавидовал — никакие «энциклопедии» им были не нужны.

Я высадил их в Лядах, большом селе.

— А эту иньяньку-то вы лучше снимите, — наставительно сказал мне на прощание мужчина. — А то серой запахнет...

Разворачиваясь, я ещё раз оглядел своих удивительных пассажиров. Они одни стояли на автобусной остановке с сумками, кутулями и бутылью со святой водой. Весь их вид свидетельствовал о спокойствии и уверенности в своей правоте: скорый конец времён был им явно не страшен...

Уличенный в ересях и заблуждениях, по дороге домой я зашёл в нашу церковь в Заянье. Служба давно закончилась, но двери были ещё открыты. Сгорбленная монашка подметала деревянный пол, пахло ладаном и дымом гаснущих свечей. Церковь построена в XVII веке, по одной из версий аж в 1613 году, и с тех пор её никогда не закрывали — ни при большевиках, ни в войну. До революции в селе было целых четыре храма, — руины большого каменного — напротив, через дорогу. Но всех пережила лишь деревянная, самая древняя, сохранив этот густой, кондовый дух времён раскола, и по сей день не приемлющая ничего чужого, нового, приходящего извне. И было совершенно ясно, что случись наверху нечто из ряда вон выходящее — начнут ли переписывать церковные книги или, не дай Бог, Патриарх встретится с Папой, то повторится всё, как встарь, — часть приходов отколетя, проклянет еретиков-экуменистов, вероотступников, «неосергианцев», и уйдёт в катакомбы.